

Организация продает сахар-рафинад по цене завода-изготовителя. 208-95-39, 208-82-36

ДОКУМЕНТЫ И СУДЬБЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
21.IX.94 N38 (5518)

Двадцать лет назад, на исходе мая 1974 года, Леонид Максимович Леонов покорно принимал поздравления с пятидесятилетием его 75-летием. Отыгравшись, он меланхолически заметил, что это как ни крути последний юбилей, когда виновник ажитации еще не вызывает одним своим видом приводящих легкомысленных эмоций, а то и вовсе скорбного сочувствия. И как бы напоследок согласился выступить на посвященной ему конференции в Московском университете.

Выступление предполагалось 21 июня в гуманитарном корпусе на Ленинских горах. Из редакции "Литгазеты" мы отправились на задание во всеоружии — со старушкой стенографисткой и фотографом Анатолием Хруновым. Покатили по бульварам. Центр был закрыт в последний путь провожали маршала Жукова.

На другом конце земли Иосиф Бродский терзал державинские струны:

У МЕНЯ была трудная литературная биография. Каждая моя новая книга, в особенности после тридцати первого года, встречалась ужасными тапками, неприятными аплодисментами по телу, так что иногда на дипломатических приемах ко мне подходили некоторые дипломатические сотрудники и спрашивали: "Господин Леонов, как вы себя чувствуете после всего этого?" Я отвечивался. Но и иностранные диссертанты, которые приезжали ко мне и которых в ту пору еще допускали ко мне, спрашивали в первую очередь: "Читали ли вы, Леонид Максимович, те статьи, которые писались про вас и о ваших книгах?" Трудно было не наделать глупостей разного рода. И я очень счастлив, что я, происходя из мужиков, выдержал этот испытательный период.

Самая большая трудность была в том, что, во-первых, это был обычный послеродовой период. Я, так сказать, выходил раскорякой и с ребенком на руках, а эти удары в нижнюю часть живота бывали обычно очень болезненными. Причем люди иногда были со знанием дела, с большим опытом. У меня отсюда родилась в "Воре" блатное выражение: "как судят конюху, так и судят Леонова". И я иногда испытывал это дело. Но, кроме того, было тяжело потому, что и сам понимал, как в конце концов несовершенное это произведение, с которым выхожу на широкую публику. Дело в том, что я тогда уже понимал — у меня написано было позже, и я думаю, что это правильная формула, — что каждый испанский лист бумаги в конце концов есть испорченный лист бумаги, потому что этот прекрасный чистый лист бумаги всегда есть потенциально гениальное произведение. И от сознания этого получалась двойная примочка, двойной компресс на больное место. Он был в особенности болезнен.

Оно было так и дальше, и трудно было, было даже как-то одиноко тогда. Правда, Горький, за что я благодарен ему больше всего, сказал мне под руку, — я делал очень сложные конструкции и в них был не уверен, а он мне под руки говорил: "Хорошо, хорошо". И говорил иногда даже такими словами, которые я не могу вам повторить: нельзя.

Когда я приходил иногда в инстанции сказать: "Что же вы меня так?", — говорил: "Что вы делаете? Я же резекционный инструмент, нельзя же молотком, я же не гождусь, понимаешь?". То мне однажды было сказано: "Ну брось, брось. Тебя боятся, боятся, а ты еще псу напсал". Это конкретно. Это было сказано в тридцать пятую годов. Или другой человек, от которого зависела мое материальное благополучие и до некоторой степени репутация, сказал: "Ты, Леонов, пишешь довольно выпукло, хотя можно бы и не так выпукло".

Это было трудный период. И поэтому когда, правду сказать, заграница пишет иногда о нашей, старшего поколения, ангажированности, что значит в переводе на поприще язык — завербованности, что значит — еще на поприще язык, на откровенный — полуклассицизм, то это просто не черта не понимая в том пути, которым мы прошли. Они вообще мало понимают. Надо сказать, они присколько мало понимают даже тогда, когда речь идет о фигуре, которую они очень высоко подмывают: Достоевский. Мне кажется, они его очень плохо и мало понимают. Иначе они бы лучше понимали и те события, которые у них творятся, и те необходимости, которые у нас есть.

Жалко. Они были бы осторожнее в своих суждениях и по отношению к Октябрьской революции, которая не есть доведень. Это серьезное происшествие, которое является сектором в громадном событии (одним только сектором), которое сейчас происходит в человечестве.

Я говорю все это не для сочувствия вашему. Вы видите, как все благополучно получается. Сиджу, вы, очень занятые люди, дарите мне творческое время, внимание, ласку. Я благодарный товарищ, тем более что литературные судьбы, как вы помните, бывали у нас в моем поколении и хуже. Но понимание истинного механизма, тайных пружинок моей деятельности, так же как внешних поводов для того, что они возникли, обязательно для литературоведа заграничного, потому что, если они будут так подходить к мне и в дальнейшем, мы раскидаем очень многое, ничего не останется. А без каких-то кладов, без кладовых и без каких-то банок и драгоценного металла, который обеспечивает наши банкноты, мы можем проиграть в очень большом масштабе. Это надо понимать.

Прошу вас извинить за банальность некоторых вещей, которые я должен, вынужден сказать, потому что от этого происходили наши какие-то страдания молодого Вертера, который тогда был в моем лице. Может, раскрытие этих пружинок даже поможет критикнуть меня, как следует, в более широком масштабе.

Дело в том, что мой несчастье происходило из-за того, что я не укладывался в вилку. Полагалось изобразить так, чтобы было все хорошо, как-то производство наладить, что люди хорошо себя вели.

Необходимо совершенно какие-то утилитарные, полезные навыки, к которым надо было бы прибавить раньше — со школы, раньше — с газеты, что нам, литераторам, давали уже более готовую аудиторию для большого рассуждения, для большого разговора по душам, которым является литература, разговора с читателем. Этого не было.

Мне кажется, что критика должна от-

Визу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп.

Но издали плохо видно. Не было на московских улицах лошадей, не было и гроба на лафете. Хоронили уру.

Под настроение Голя Хрунов стал повторять какую-то старую байку про легендарного полководца.

— Странные у него мемуары, — сказал покойный Битя Латышев, подсевший к нам. — С обратной дозированной. Чем больше он знает о деле, тем меньше о нем говорит.

... В актовом зале мы появились за год, и нас тутчас направили за сцену, где вокруг Леонова и его жены Татьяны Михайловны уже восседала плотота многочисленных леоноведов. Насылавшись о строптивом характере живого классика, я обреченно представлял себе, как жестоко будут пресекены наши робкие просьбы сделать хотя бы один-два снимка. Но Голя еще с порога

радостно крикнул, что мы из "Литературной газеты", — и старик безропотно поднял руки: куда, мол, деваться?

Когда через два часа под гром аплодисментов он триумфатором сошел с кафедры, Татьяна Михайловна наконец облегченно вздохнула: "А ведь Леонид Максимович уже садился писать текст выступления. И я насилу его отговорила. Иначе месяца три-четыре он бы у себя отнял".

К тому времени мы уже вполне успели отвыкнуть от непредсказуемой устной речи. Увидев как-то, что отчетный доклад, начатый Брежневым, продолжает читать Игорь Кириллов, я кинулся к приятелю:

— Что это значит?

— Это значит, — хохотнул он, — что генсексом стал Кириллов.

Леонид Максимович не читал, а беседовал с залом. Конечно, ликовался. Упорно доискивался последнего слова. Досказывая мысль, громоздил свои

знаменитые вавилоны. Шел вброд. Пронирался сквозь заросли. Задыхался на подъемах. Говорил нервно, импульсивно. Допустим, начинал спокойно: "В нашу пору..." Но тут его голос вскипал от волнения: "... критики ходили..." Пауза и почти выкрик: "... ужасно".

Несчастная стенографистка едва улавливала канву леоновской речи. Все бы потибило, если бы не магнитофонная запись, которую вели филфаковцы. По этой записи я потом полдня восстанавливал пропуски в стенограмме, переставлял куски, правил ошибки.

На бумаге устная речь выглядела неуклюже. И есть большой опыт превращения ее в письменную. Помню, как Хрущев заявил, что он не служил у Буденного в Первой Конной, но, так сказать, за конницей бегал. На другой день из газет можно было узнать, что это конница едва поспевала за Хрущевым.

Нетрудно подчистить и леоновские

время происходит на наших глазах, все-таки Достоевский переживает Толстого. По сводкам ЮНЕСКО, это самая большая фигура наибольшего влияния сегодня на мировую литературу.

Занятно, что как раз здесь Александр Иванович <Овчаренко. — В.Р.> говорил о первой книжке моей, которая вышла в 1925 году в переводе в Германии с пояском: "Der neue Dostoevsky neuen Russen".

Леонид ЛЕОНОВ:

Предварительные ИТОГИ

Монолог середины 70-х

● "И самый страшный поединок — это, вероятно, поединок с самим собой..."

● "Комментарий к непознаваемой до конца вселенной может быть интереснее ее самой, которая в конце концов может оказаться такой простой, как детский рисунок"

том, какие страшные диверсии можно произвести словом. Это очень нужно, потому что нашим поколением игра отыграна, но идут молодые люди, которые еще не имеют той культурной закалки. Я начал старую гимназию, окончил ее с медалью. Я в гимназии Тита Ливия по-латыни рассказывал. А они будут некоторое время попроще, пока не накопят разбег и инерцию разбега.

В нашу пору критики ходили ужасно. Мы так их боялись! Им все было дозволено. И у каждого бытового инструмент: один ходил с пилкой, другой — с торпедом, специально попутать специальные места (у него были специальные места), третий — с корчевальным инструментом. И он так и ходил, <ища> где можно попилить: попилит — и как раз его репутация и росла на этом.

И в ту пору не вступал в эти битвы, потому что битвы были напрасны. Гражданский всегда пользовался таким инструментом и такими средствами, на которые я не пойду. Я не могу, они мне претят. А он пойдет — и ему поверят. Поэтому я, как и Вихров, старался защищать голову, чтоб не били по голове, как тот известный господин Сократ, который говорил: "Не бей по голове: ты мне мешаешь думать", — помните его диалог с женой?

Критик, мне кажется, должен разговаривать с нами с позиций нашей игры. В плане этой игры не требовать того, что я не могу сделать. В ресторан не ходят бриться или для покупки обуви. Там пьют из бутылки то, что в нее налили: так нужно.

Это очень все важные вопросы.

В ЧЕМ ЖЕ были мои переживания? Я никогда не пытался стать учителем жизни, давать категорические советы, сентенции, как спасти душу в условиях коммунальной квартиры, заслужить себе памятник в Черемушках. Мне никогда не удавалось создать общедоступный самоучитель святости. Я не мог никогда об этом думать и не умел это делать.

Вот эти острые переживания мои у меня всегда были предлогом. Были сокровенные другие причины, о которых многие знают. Но эти острые переживания были, может, оттого, что я не умел создать положительного героя. Все мои герои были подмоченными. Я искренно не понимал никогда этой постановки вопроса, как и сейчас не понимаю, — каюс чистосердечно с этой трибуны, — что это такое значит. Я задавал вопрос: являюсь ли я таким образцом, положительным героем? Я лауреат дважды, я бывший депутат Моссовета. Приводов я не имел. Я неупоющий и вот теперь после болезни — неукорящий. Я женат пятьдесят первый год, ни разу не разводился. Есть у меня также другие многие несомненные достоинства, как отмечают друзья. Но вот я все-таки не герой. Почему? Потому что у меня очень трудный мир моих мыслей и противоречий. Поверьте, это очень трудное ремесло — писательство. У меня это незабываемая работа — работа без выходов, без отпусков. Я работаю 1 мая и 8 ноября, потому что это процесс, который я не могу остановить. Это как остановить дождю — получится "козел". Это не от усердия или борьбы за план. Это ожеридность, это мания, это неизлечимая болезнь творческой несмысленности и постоянное сознание несовершенства и слабости. Это очень трудное дело. Тут-то как раз и вырастает главное. Почему-то мне казалось всегда, что в таких потемках лучше вырастают нужные растения, чем иногда на выжженной солнцем поверхности.

Наша работа писательская — это изо дня в день. Она вознаграждается, правду говоря, лишь изредка некоторыми довольно редкими находками. Вдруг возникает на пересечении каких-то двадцати пяти координат неожиданная деталь, которая освещает все. Вдруг она дает ровный, <не>мерцающий свет на событие, на эпоху, и все видно в этом свете, все предстает ясным и понятным: логика и конструкция эпохи и события. Думаю, что в эти минуты я не могу состязаться с богом, который создал мир. Но если мне удалось по настоящему хоть одна травинка, по-насто-

ческая, человеческий прогресс в том и состоит, что человечество обходит вокруг одного и того же явления и события, которое до него существовало и будет существовать, но оно обходит его в разное время дня своего, который ему отпущен на бытие во вселенной. И оно видит с разных точек зрения эти стрелки, тени от которых постепенно удлиняются и заходят куда-то за круг циферблата, куда-то в пространство, недоделанные порой для мышления...

Вы видите сейчас, до какой степени мне не удавалось то, что я хотел сделать. Это были портреты мыслей о том же самом, повторяющиеся, но всегда эти мысли будут различны, будут зависеть от мышления.

Для меня всегда автор был важнее события. Вспомните чеховскую "пепельницу". Потом важна не бутылка, а вино, которое налили. Мне кажется, документы об эпохе можно почерпнуть из бесстрастного мемуара, репортажа, даже миллионского повествования. Меня интересовал и живой человек, который видит явление, как оно в нем отражается.

Это нельзя было порою у нас. Это было трудно. Это не поощрялось. Я думаю, что со временем, когда-нибудь поймут, может, не на моем веку, но все это будет понято и будет правильно истолковано то, что я говорю. Мне кажется, что комментарий какой-то к непознаваемой до конца вселенной все-таки может быть интереснее ее самой, которая в конце концов может оказаться такой простой, как детский рисунок, — тот окончательный иероглиф, по которому она построена.

Я имею в виду отражение события внутри автора. Поэтому мне всегда больше интересовала личность героя, личность писателя. Не само событие.

Думаю, что в этом и было различие Толстого и Достоевского. Если, так сказать, вверх этот лес, который стоит на реке, а внизу отражение этого леса, эти отражения, как вы, наверно, замечали, длиннее, глубже, и они уходят куда-то в страшный и поразительный сумрак, в таинственно влекущий сумрак, где можно разглядеть поразительные вещи, которых не разглядывал, которых нет в ясном небе над этим лесом. Мне кажется поэтому, в том беге, гигантском беге двух гигантов Толстого и Достоевского, который все

И в виде маленького дивертисмента разрешите вам рассказать эпизод.

Когда эта книжка вышла, мне прежде всего хотелось сказать одну вещь. Я окончил городское училище в бывшем Зарядье. Я туда поступил семи лет и до десяти лет его окончил. И тогда у меня был учитель — Митрофан Платонович Кульков. Он был очень хороший человек, очень. Мне было десять лет, я мало что понимал, но теплоту, дальнейшее тепло я улавливаю до сегодня.

Когда вышла первая книжка с таким лестным поиском на иностранном языке, мне двадцать пять лет, я решил отнестись к нему в подарок. Это был благодарный, конечно, порыв. И, по-моему, надо, чтоб всегда так делали: не забывали педагогов. Это хорошо.

Я пошел к нему во второй половине дня. И вошел в класс. И тот же самый сторож Максим вытиснул доску после занятий. Он увидел меня и где не увидел, сказал: "А Огарков где?" Пятнадцать лет спустя он вспомнил, что со мной рядом сидел парнишка под названием Огарков. Я спросил Митрофана Платоновича:

— Нет его, он умер с голодухи в двадцатом году.

— А жена его? Где она?

— Она тоже умерла.

Я помню, я тогда прошел к церкви Зачатия, она там осталась — на углу тогда громадного сооружения на "гостиницы" "Россия". Я шел к этой церкви. Была пасмурная погода, осень была. Оттого что мне не удалось приложить эту книжку, запал провал, даже я всплакнул.

Но потом, когда я делал "Взятие Великошумска", то мне надо было учителя сделать. Я решил вспомнить этого самого Митрофана Платоновича. Есть там у меня один учитель. Я ему дал его имя, отчество и фамилию. Я ему дал, просто такая был расчет, что, чем черт не шутит, я его выткну. Как-то, думал так, воздал ему благодарение, венюк такой поставил. Книжка имела большой успех. Она вышла во время войны, сразу же была переведена в Париже, Нью-Йорке, в Шанхае в подполье, в Уругвае, где-то еще. Был большой успех.

И вот, страшно смешно, в году 1949-м я получаю письмо: "Уважаемый тов. Леонов! Неужели вы и есть тот самый Леонов, о котором покойный отец, прихо-

фразы. Но не лучше ли оставить все так, как было, сохранив интонацию и энергию разговора. Я позволял себе лишь некоторые догадки в неясных по выговору местах да еще опустил несколько служебных пассажей в начале и конце выступления.

То, что твердил Леонов в 1974 году, по большей части воспринимается сегодня как норма. Но совсем не бесспорными были его рассуждения — например, о трагическом в искусстве или о положительном герое — для тогдашних филфакских ортодоксов. На одной из фотографий я разглядываю растерянное лицо непонимаемого Метченко. Бедный Алексей Иванович! Каково ему было выслушивать при своих студентах леоновскую ересь?

... Кажется, совсем недавно, в июне 1986 года, сверяясь со своими записями, открывшему смахивавшим на кардиолога, Леонид Максимович надиктовал мне небольшую заметку для

домой, так мне много рассказывал?" Это оказалась дочка Митрофана Платоновича, учительница. Были любопытные, интересные эмоции, воспоминания.

А потом было дело у нее одно, и она пришла ко мне. Я был тогда депутатом. И вот пришла старушка согбенная, с заколкой на темени, и я понял, как много прошло с тех пор лет.

Я ТУТ ДУМАЮ также вот о чем. Когда я говорю о мышлении, то мне кажется, мышление сегодня должно составлять главную сторону, главное достоинство в нашей литературе.

Я приду очень большое значение этим громадным событиям, которые творятся у нас. <Но> Уайльд говорил, что самые большие события творятся в мозгу. Мне кажется, это правильно. И в самом деле <очевидно, потеряны одно-два слова. — В.Р.> иногда поощряется у нас и поощрялось, но возьмите "Тамбета" Шекспира — почтенный классик, допущенный в школу. И вдруг главный герой такой образованный, такой чуткий ко злу, чем он дарит человечество? Размышляем: "Быть или не быть?" Подумать только! Неужели в ту пору свирепого феодализма не оказалось под рукой у него более актуальных политических вопросов? А ведь до сих пор пьеса контрабандой, может быть, идет на всех сценах мира.

Вот эти беды меня преследовали и изза непонимания персонажей моих — Увадьева и Скутаревского в особенности. Всё, говорили, не то. Но в особенности

"Литгазеты". Приблизилось пятидесятилетие смерти Горького, на носу был ставший последним съезд советских писателей. Еще не догадываясь о конце эпохи, Леонов решил напомнить коллегам остроумную горьковскую присказку: "Мы не монахи, чтобы бунить в унисон". А сам запрятал в дебрях фирменного синтаксиса едва ощутимый сегодня, но вполне явственный тогда намек на недавнюю черниобильскую трагедию. И опасался, что при переписке-перепечатке это место как бы само собою незаметно исчезнет. Я пообещал привезти ему для контроля гранку. Его ответ, записанный на магнитофонной ленте, трудно разобрать. По-моему, он сказал: "Это было бы хорошо. Все равно что на себя в зеркало взглянуть".

Где оно теперь, это зеркало?

В.РАДЗИШЕВСКИЙ

мил я сижу с ним, и мы толкуем о градущем, о завтрашнем дне.

Я думаю, что за это время будет пивом угощать, а со мной сделали как раз некоторые обратные процедуры. А доказывать это некому. Критике? А иной критик делает зло дело. Так, можно сказать, стрелять бы в него! А стрелять милиция не велит.

Конечно, в этом плане детская почти нетерпимость бывает. Такое похвальное есть у нас пристрастие к Рахметову и неприятие ко всем другим. И вот это добротное не в меру отличает этих людей, которые очень мешают иногда созданию нужных произведений. Но это и показывает какую-то интеллектуальную недостаточность этого подхода к литературе.

В самом деле, это похвально, что критик негодует. <Не восстанавливается фраза с упоминанием шекспировского Шейлока. — В.Р.> Горючий взятки берет. Свиридагиллов покойнику вилит наву. Тоже нехорошо. Стоит сегодня подумать о праве художника на условное деяние персонажа в рамках произведения. Не надо думать, что сразу после прочтения такого произведения один бросится отгадывать по "Карамзовым", а начитавшись "Фауста", кто-нибудь пойдет продавать душу черту. Я думаю, что оскорбительно для нашей эпохи думать так. До сих пор у меня холка болит от этого дела.

Были такие книги написаны, и, если только вспомнить, как они были написаны, то можно сказать, что они были критикой облизаны, и по какой цене они были оплачены. А где они теперь? Вспомнить даже не можем.

Мне кажется, воспитание людей нужно делать комплексно. Я всегда стремился воспитывать человека, если это приложимо и мои произведения в какой-то мере достойны этого слова, воспитывать просто хорошего человека. Это самое важное. Хороший универсал. Он не предаст отечество не потому, что это кажется, а потому, что принимать золотые дубоны из рук разведчика и т.д. — липнет, делается ощущение какой-то радости в руках.

И еще. Я с самого начала, с первой книги понимал (и мне кажется, это правильно), что становление героя происходит все-таки через поиск трагического. Я могу судить о герое, потому что он не просто один, он комплексная личность эпохи, по тому, кого он выбрал в напарники, с кем он ведет поединок, посмотрите, как он борется. Подобно библейскому Иакову на лестнице — великолепный, божественный образ, — который борется с богом. И тогда можно позволить ему бороться с богом и призраками.

И самый страшный поединок, который может вестись, вероятно, это поединок с самим собой.

Я хочу видеть эти мыслительные бицепсы современника, которого выбирает литератор себе. Поэтому я и пытался всегда вместо поучения представить себе эту человеческую личность, разъяренную во всевозможных невероятных ракурсах, в которые ставит его сегодня эпоха, иногда в фантастических, неуловимых так, как грозный ветер вает и лепит облака, которые несет почти неуловимо. Это неминуемо. Какие формы человек принимает, когда вырастает из тесного костюма, этой человеческой личности.

Это не значит, что я хотел сказать, что живой человек не может лежать. Это лучшее положение мертвоты. Но это не морт, не анатомический театр. Это скорей атлас анатомических, пояснительных резекций души, содержание которых способно обогатить наши представления о самих себе, содержание которых может внушить одному человеку сочувствие к другому человеку, понимание его, любовь к нему — то, что, может, является главным показателем и тезисом завтрашнего мира.

Словом, я все это очень многословно, и применяя красноречие, говорю не затем, чтобы протиснуть вредную идею, а из уважения к современности и к вам, по тому что уважение к собеседнику всегда мерится степенью искренности к нему. Тем более что престиж эпохи — любой эпохи, эпохи с большими издержками в особенности — мерится, между прочим, не только числом воздвигнутых зданий или километрами проложенных дорог, но и качеством художественных произведений, которые были созданы в эту эпоху...



Леонид Максимович ЛЕОНОВ с Алексеем Кузьмичем ЮГОВЫМ и академиком-лесоводом Николаем Павловичем АНУЧИНЫМ.

Снимал Анатолий ХРУНОВ

мне попало тогда за Курилова из "Дороги на Океан". Очень интересная была обстановка, очень интересные были переживания. Но позволить мне с, так сказать, опозданием раскрыть этот маленький, детский секрет замысла. Меня совершенно не интересовало, будет ли железная дорога работать или нет. Это легко достигается. Надо снять ленту, или тупицу, или бездарного человека и посадить другого, бездарного, хорошего коммуниста, и дорога будет работать хорошо. И они работают у нас хорошо.

Меня интересовало другое. Меня интересовала личность эпохи. Вот взять такого человека, который стоит в ореоле передо мной на горе, на которого я жмурюсь глядя. Я сдеру, сниму все этот фирсовский орнамент, отниму у него его портрет, его друзей, его неприкасаемость, его дачу, его авторитет, — все. Я оставлю его наедине с его болезнью, посмотрю, чем он окажется. Вот был замысел. И Курилов после этой истории остался прежним владельцем, истинным владельцем будущего мира, и в последний

Ежедневно в эфире по утрам и вечерам звучат позывные радиоконстанции "Москва", и ведущий представляет давно любимую жителям Москвы и Московской области программу "Москва и москвичи". Ежедневно передачи Москвы слушает каждый третий житель столицы. Слушают нас и в других регионах страны — Рязанской, Тульской и других областей, а также в Санкт-Петербурге и даже в Прибалтике.

Радиоконстанция "Москва" на взаимовыгодных условиях предоставляет всем фирмам свое эфирное время. Свяжитесь с нами — и миллионная аудитория Московского региона узнает о вас и вашем деле!

Программы радиоконстанции "Москва" распространяются по первому каналу московского городского эфирной сети (1-я программа), на средних волнах (355 м) и УКВ (частота 66,44 МГц или на волне 4,52 м), звучат как в утренние, так и в вечерние часы.

Дополнительную информацию вы можете получить, связавшись с радиоконстанцией "Москва".

"МОСКВА"

Наш адрес: N3326, Москва, улица Панинская, 25. Контактные телефоны: 233-71-38, 233-68-50, 233-77-26, 233-63-98. Факс: 231-82-99.